

**О**на появилась в нашей парикмахерской в конце августа, как раз перед Днем независимости<sup>1</sup>. Кишинев изнывал от жары. Листья на деревьях стали бурыми и скукожились, однако крепко держались за ветви — не время еще. Люди носили свои распаренные, как из бани, тела от кондиционера к кондиционеру. У нас кондиционера не было, работал только вентилятор, со старческим скрипом гонявший спертый воздух, отчего запахи лаков и шампуней накатывали удушливыми волнами. Неудивительно, что Татьяна с Родикой поругались. Хотя они всегда ругаются, неважно из-за чего, кто лучше стрижет или у кого больше клиентов. На этот раз и повода искать не пришлось.

---

<sup>1</sup> День независимости Молдовы празднуется 27 августа.

Татьяна, эта хитрая гагаузка, по виду сдобная булка с маслом, на деле та еще провокаторша. Выключила гудящую басовитым шмелем машинку для стрижки и в наступившей тишине отчетливо произнесла: «Тоже мне праздник, этот ваш День независимости! Что тут праздновать, когда столько народу на заработки уехало, да так в других странах и осталось. А разбитые семьи, а дети, растущие сиротами... Стыдоба, а не праздник!»

Вот зачем сказала? И кому. Клиент, худосочный парень, крепко завязанный пеньюаром под самый подбородок, выглядел так, словно находился на грани обморока. В зеркале отражались бледное, без кровинки лицо и бессмысленно вытаращенные глаза. Проблема независимости его сейчас вряд ли волновала. Зато откликнулась сучавшая без дела Родика. Черноволосая пышногрудая молдаванка Родика лю-

бую критику в адрес родины воспринимала как личное оскорбление.

— Ой, ласэ ворба<sup>1</sup>, доамна<sup>2</sup> Татьяна! Вечно вы, русскоязычные, недовольны. Лично у меня праздник. А кому не нравится, тот пусть терпит. Мы же терпели столько лет...

Со стороны маникюрного столика послышался стук — что-то уронила на пол тонкая, как молодое деревце, Олеська. Вспугнутыми птицами взлетели ниточки бровей, скривились сочные, будто спелые ягоды, губы. Только потом пальцы вытянулись во всю свою неправдоподобную длину и крепко обвили упавший предмет, оказавшийся маникюрными ножницами. На внезапное объятие те ответили строгим, почти хирургическим блеском. Тут я наткнулась на Олеськин взгляд точно с таким блеском и отвела глаза. Знаю, знаю, я должна была что-то сказать, сделать, чтобы остановить разгоравшийся скандал. Все-таки администратор, какое-никакое, а начальство. Но жара высосала из меня все силы, я не смогла.

Так день и тянулся: Татьяна с Родикой ругались, а мы с Олеськой лишь молча переглядывались. С появлением клиентов наступало временное перемирие: пряди волос, мужские, женские, детские, беззвучно летели на пол. Мы наслаждались драгоценными минутами затишья. Но стоило клиентам, расплатившись, выйти за дверь, как скандал вспыхивал с новой силой.

Словно гонг на боксерском ринге, звонил телефон. То ли возмущенно сыпал проклятиями, то ли урезонивал: хватит-хватит-хватит! Но женщины не обращали на него ни малейшего внимания, продолжали свое. Прикрывая трубку рукой — чтоб не было слышно криков, — я сообщала о часах работы и расценках на стрижки. Я втайне надеялась на приход хозяйки, молодожавой дамы с по-мужски крепким подбородком. Одно ее появление — скандал стих бы сам собой. Но та не пришла, только позвонила. «Как там у вас?..» Я с трудом выдавила: хорошо. После чего не выдержала — сбегала на улицу.

Первый же вдох как кипятком обжег горло. Жара была повсюду. Она сочилась через поры нависшего над порогом козырька. Она так нагрела входную дверь, что прикосновение к дверной ручке еще долго отдавало болью в пальцах. Жара размягчила асфальт, отчего тот стал похож на пластилин. Август напоследок будто давал шанс — вылепить новый мир, лучше, добрее нынешнего. Но лепить было некому: прохожие, едва появившись, сразу исчезали. Птицы, все эти воробьи, синицы, трещотки-сороки, и те попря-

<sup>1</sup> Ласэ ворба (здесь и дальше молд.) — в значении: перестаньте.

<sup>2</sup> Доамна, доамнэ — обращение к взрослой женщине.

тались в листву кленов и лип, дожидаться прохлады. Из звуков остались шушряние шин и дребезжание грузных, одышливых троллейбусов — доносились со стороны знаменитого Пьяного угла. Чем он знаменит? Сейчас в угловом тупоносом здании, похожем на корабль (повернулся кормой, хотел уйти в плавание, да так и врос в землю), находится обычная продуктовая алиментара<sup>3</sup>. А лет тридцать тому назад там был ликеро-водочный магазин, во времена горбачевского сухого закона единственное место в городе, где продавалось спиртное. К радости кишиневцев, а также местных алкашей. Эти последние, выйдя из магазина, открывали вождеденные бутылки прямо на ближайшем газоне. На газоне они потом и лежали, и бутылки, и сами алкаши. Сейчас ни магазина, ни вольготно раскинувшихся вокруг алкашей уже нет, а название осталось.

Со стороны Пьяного угла она и пришла, Златовласка то есть. Никакой Златовлаской она тогда не была, просто девчонка лет четырнадцати с длинными светлыми волосами. Чего мне вдруг почудилось, что от нее исходит какое-то сияние? Наверное, от жары в глазах помутилось. Зато походка была вполне земной. Так ходят взрослые женщины, когда знают, что желанны. И взгляд взрослый, будто все на свете видела. А Златовлаской ее окрестила Татьяна. Я вслед за девчонкой в парикмахерскую вошла, поэтому слышала. Татьяна как увидела, так с ходу и брякнула: иди, говорит, сюда, Златовласка. Та и пошла, спокойненько так, будто ее всегда так называли.

Женщины наши даже про ругань забыли. Не сговариваясь, запели на два голоса: какие волосы, да какой цвет... Златовласка лишь улыбалась. Видно, привыкла, что хвалят. Но улыбка скоро угасла, на смену пришло обычное невозмутимое выражение. Она вообще редко улыбалась (хотела выглядеть старше?). А прическу ей, конечно, сделали: подкрученные по моде золотистые локоны теперь мягко обрамляли нетронутое загаром молочно-белое лицо. Мадонна, да и только! Потом Златовласка часто к нам захаживала, то укладку сделать, то маникюр. И чаевые оставляла, будь здоров. Мы все удивлялись: откуда у малолетки такие деньги? Пытались разузнать, да без толку. Из девчонки слова было не вытянуть. Ну и ладно, в конце концов, что нам за дело, платит, значит, есть откуда.

Клиентов у нас полно, считай со всей Нижней Рышкановки<sup>4</sup>. Но запоминаются не все. Кто-то наверняка скажет, что парикмахерская память зависит от размера чаевых. Вот и неправда! К примеру, ходит к нам Пашка-мент. Вежливый, и чаевые всегда оставляет. Только мы его терпеть не можем — скольз-

<sup>3</sup> Алиментара — продуктовый магазин.

<sup>4</sup> Нижняя Рышкановка — район Кишинева.

кий. У него и движения такие: будто из тела вынули все кости, и теперь оно изгибается во все стороны. Смотреть противно. Зато профессор из университета, сутулый мужчина с по-собачьи грустными глазами, всегда желанный гость. Ну и что, что волосы в черный цвет красит. Мы вначале недоумевали: в сочетании с немолодым лицом эта чернота смотрелась как траур по неудавшейся жизни. Оказалось, совсем наоборот! У профессора жена молодая, вот он и старается быть под стать.

Что преподает? Разве я не сказала? Литературу! Однажды стихи нам читал, странные такие. Слова вроде все знакомые, но ничего непонятно. Я даже попросила еще раз прочесть, вдруг пойму. Слушала я, слушала, и тут меня осенило: это же мелодия, просто написана словами! Льется она в пространство, опутывая всех нас, Татьяну, Родикку, Олеську, меня, профессора, жену его. Все вместе мы начинаем звучать. Как ноты. И ничего, что неслышно, ноты ведь тоже по-разному звучат, громче, тише — неважно. От этой мысли на душе хорошо так сделалось, даже слезы на глазах выступили, от избытка чувств. А вы говорите, чаевые... Но я отвлелась, я ж про Златовласку хотела.

Той осенью мы видели ее почти каждый будний день, так получалось. Молдавская осень — время свадеб. На выходные в парикмахерской толкотня, впечатление, что весь мир срочно решил пожениться. Чтобы потом развестись, но это позже. А пока женихи с невестами, нанашки<sup>1</sup> с кумэтрами<sup>2</sup> красоту наводят. Зато с понедельника полный штиль. Хозяйка наша не верила, думала, мы парикмахерскую закрываем и по своим делам уходим, вот выручки и нет. Так она проверять вздумала: то придет неожиданно, то позвонит. А мы что, мы всегда на месте. Стулья на улицу вынесем и сидим, клиентов дожидаемся.

Клиентов нет, зато есть белки. Здесь парк недалеко, так они до нас добираются. Пронесется такая шаровой молнией и вдруг застынет совсем рядом. Глазки черные, внимательные — о чем думает? «Отомри», — беззвучно шепчу я, вспомнив детскую игру. Та будто слышит: хвостом дернет и шась на дерево, только ее и видели. А воздух какой... Осенний воздух вообще особый, ароматный, как домашнее вино. Не дышишь — пьешь его. Даже голова кругом идет, словно и впрямь опьянела. А тут Златовласка после уроков идет. Школа ее в двух кварталах от нас, близко. Мы еще издали ее замечали. Олеська — та локтем в бок меня толкает: глянь, какая юбочка да какие туфельки... Я только плечами пожимаю: хоть в листья

девчонку одень, все равно красивая. Кстати, о листьях — очень ей подходило это осеннее золото, жаль, недолговечно оно.

Одна Златовласка редко шла, чаще со свитой. Мальчишки круги возле нее наворачивали. Голенастые, шумные. Девочки, те явно подражали. Но куда им до нее! До нас доносилось их щебетанье, прерываемое взрывами дружного хохота. Златовласкин голос, в общем, негромкий, был явственно различим в этом хоре. Слова она роняла небрежно, будто нехотя. Знала, что все равно услышат. Надо отдать ей должное: о свите своей Златовласка заботилась. Мы не раз наблюдали, как, достав из сумки кошелек, она, ни секунды не колеблясь, передавала его одному из мальчишек. И вот он уже мчится в сторону Пьяного угла и почти сразу возвращается с гордым видом. А в руках добыча: мороженое, на палочке, в стаканчиках — как заказывали.

Иногда, резко сменив направление, всей толпой они заваливали к нам. Но в кресло садилась только Златовласка. И пока кто-нибудь из наших колдовал над ее волосами, свита, устроившись на банкетке возле двери, не сводила со своей королевы восхищенных глаз: укладывать волосы просто потому, что вдруг захотелось, — это круто!

Я не помню, когда эта мысль впервые пришла мне в голову. Но когда это случилось, удивилась даже, почему я раньше об этом не подумала. Правда, нашим говорить не стала, чтоб лишней болтовни не было. А подумала я вот что: свита Златовласкина, все эти мальчишки-девочки — щенки бестолковые, от них даже на расстоянии молоком пахнет. Златовласка другая. Когда девичье тело с мужской лаской знакомо, оно будто соком наливаются. Манит к себе — надкуси, попробуй. Мужики это чувствуют, вон как вслед смотрят, разве что не облизываются. Даже Серега на нее загляделся. Кто такой Серега? О, это отдельная история...

Светловолосый красавец Серега тоже наш постоянный клиент, часто приходит. А куда ему ходить, если он рядом живет? Хотя лучше бы не ходил. Нет, ничего такого, Серега хороший, и поздоровается всегда, и пошутит. Но в его присутствии с нами со всеми что-то делается. Татьяна начинает говорить тоненьким-претоненьким голоском. Как девочка, честное слово! Родика непрерывно хихикает, будто ей кто пальцем щекочет по ребрам. Олеська вспыхивает таким свекольным румянцем, хоть сейчас в борщ.

«Может, у нее давление?» — беспокоится Татьяна. Какое давление в двадцать лет! От смущения это.

Я тоже смущаюсь, аж подмышки все мокрые. В Серегину сторону стараюсь без надобности не смотреть. Получается плохо. Хоть в зеркале, но увидишь: по-мальчишески торчащие вихры, глаза, ласковые

<sup>1</sup> Нанашка — посаженная мать на свадьбе.

<sup>2</sup> Кумэтр (кумэтру) — крестный отец.



да смешливые, литые бугры мышц... С одного Серегоного плеча хищно скалится темно-синий вытатуированный тигр. Этот тигр мне даже снился, как он по моему телу туда-сюда разгуливает — тьфу! И ведь не то чтобы Серега мне нравился, просто есть мужчины, от которых определенные флюиды исходят. Волеяневолей вспоминаешь, что ты женщина. За суетой об этом как-то забываешь.

В тот раз Серега на машине приехал, сына на стрижку привез. Сын — застенчивый тихий мальчик, от Сереге разве что цвет волос. Зато машина очень на Серегу похожа, такая же гладкая, ладная. Даже улыбается, как ее хозяин, — чуть насмешливо. И не надо говорить, что машины не улыбаются, Серегина точно улыбалась! Подошел он к нам с Олеськой — мы на улице сидели, — поздоровался. Смотрю: а тигра-то и нет, под рубашкой спрятан. На улице не холодно, но все-таки осень, вот Серега и приделся.

Я облегченно выдохнула: очень этот тигр меня нервировал. И сразу осмелела. Даже разговор завела, по делу, конечно, про мальчиковые стрижки. Как вдруг Олеська голос подала. «Златовласка идет!» — пискнула. Что на нее нашло, может, хотела внимание к себе привлечь? Но Серега на нее и не глянул. А на Златовласку посмотрел, да. Потом заговорил, и слова вылетали из вишневого рта голыми косточками:

— Златовласка... Вот, значит, как.

Когда спустя несколько месяцев выяснится про их любовь, Олеська скажет, что еще тогда обо всем догадалась, по словам и по взгляду. Только задним числом что угодно можно придумать. Ничего особенного в его взгляде не было: так смотрят на стол или стул, без всякого выражения. А фраза... ну да, странная. Но ничего мы тогда не поняли, и понять не могли. Это только господу богу все видно, а люди и не замечают, пока их носом не ткнут.

Но это будет потом. А пока, пожелтев, покраснев и словно разозлившись на обилие цвета, деревья разом скинули всю листву. Рассчитывали на роскошный белоснежный наряд? Но зима в Кишинев приходит не по календарю, а когда захочется. И только струи дождя злобно хлестали будто провинившийся в чем-то город. Он был порядком измучен, когда наконец пошел снег. Дотошный, тот обходил квартал за кварталом, улицу за улицей. И вот уже нахлобучили мохнатые шапки дома; деревья, как диких зверей, на глазах обрастали шерстью. Но следить за чудесным преображением было некогда, в парикмахерской начался предновогодний марафон.

Ждать его мы начинаем еще с осени. Оно и понятно: больше клиентов — больше денег. Но с каждым новым днем про деньги думалось все реже, зато спать хотелось все сильнее. Еще я вдруг с ужасом поняла,

что начинаю ненавидеть людей. Их слишком много, как и их желаний, капризов и, конечно, волос. А волосы были повсюду: они витали в воздухе, налипали на одежду, кололи, раздражая, кожу. Люди не виноваты, они просто хотели стать красивыми, но почему за наш счет? Движения наши стали замедленными, мы осунулись. Только улыбки будто навечно приклеились к лицам (не пришлось бы отдиравать вместе с кожей). Все мы мечтали об одном: оказаться перед экраном телевизора с тарелкой салата оливье. А потом, едва пригубив шампанское, завалиться спать. И никаким петардам не пробиться через толстые стены усталости.

Про Златовласку с Серегой мы узнали, когда праздники были уже позади. А все Родика: ворвалась в парикмахерскую, лицо, как пожар, полыхает. Даже говорить не могла, так разволновалась. А когда наконец заговорила, обычно еле заметный молдавский акцент был таким сильным, мы и понять толком ничего не могли. Хотели попросить, чтоб по-молдавски рассказывала — через слово, но все равно пойдем, — но тут Родика взяла себя в руки и заговорила:

— Штиць, фетелор<sup>1</sup>, иду я на работу. Вижу: машина стоит, на Серегину похожа, прям один в один. Подошла поближе — правда, Серегина! И он тут, на водительском месте сидит. А рядом — кто бы вы думали? — наша фрумушика<sup>2</sup> Златовласка! Ну, я-то не баба проастэ<sup>3</sup>, вида не подаю, что заметила, иду себе дальше. Только вдруг слышу: «Доамна Родика, можно вас на минуточку...» Даже имя запомнила! Я и подошла. А Златовласка стекло машины опустила и давай расспрашивать, как я сегодня работаю и можно ли записаться на стрижку. Конечно, говорю, пофтиць<sup>4</sup>. Она спрашивает, а я в лицо ей смотрю. Потом глаза опустила, а там... мамэ драгэ<sup>5</sup>!..

Родика занервничала, сбилась. Видно, до сих пор переживает. А дело было в Серегиной руке — та ползла по ноге Златовласки, как какое-то насекомое. То на коленке осядет, то выше двинется. Поглаживает, тербит, снова поглаживает. Потом вообще под юбку нырнула. Златовласка до этого говорила спокойно, а тут губу закусила и молчит. И вид такой... сначала вроде как смущенный, а потом глаза словно пеленой заволокло. Тут Родика не выдержала: пробормотала что-то невнятное и прочь бросилась. Еще не хватало на чужие обжималки смотреть! Может, кому это

смешным покажется, но не смешно это вовсе, противно даже.

— Он ведь женат... ребенок... — только и сказала Татьяна. Тоже мне, открыла Америку.

— Он женат, — передразнила ее Олеська. — А она, между прочим, малолетка!

Сказала как отрезала. Молодец, Олеська, в самую точку! Я подумала, что Олеська очень умная и нечего ей с чужими ногтями возиться, учиться надо.

Златовласка так и не пришла тогда. Зато спустя неделю появилась вместе с Серегой. Поначалу было неловко на них смотреть. Будто мы сделали что-то постыдное. Но и любопытно тоже: как эти двое будут себя вести? А никак. Вели себя как обычно. Мы тоже расслабились. На самом деле, если забыть все обстоятельства, хорошо они вместе смотрелись: оба светлые, красивые — пара.

В зеркале отражалась насмешливая Серегина улыбка, словно догадался, о чем мы все думаем. Но улыбка сразу окаменела при виде зашедшего в парикмахерскую Пашки-мента. Меня неприятно поразило, что они знакомы. Не такой человек этот Пашка, чтобы знакомство с ним водить. А тот, покачиваясь из стороны в сторону, как змея перед броском, уже что-то шептал в слегка оттопыренное Серегино ухо. О чем говорит? Жаль, не расслышать. Зато последние слова прозвучали громко, даже слишком: «Смотри, я тебя предупредил!» После чего Пашка уходит. В каком-то остервенении хватаюсь за швабру — смыть все это непонятное, недоброе...

Не потому ли началась моя тревога? А может, это просто февраль... Тяжелый месяц, уж очень сурово глядит. Словно решает: засыпать город снегом по самую макушку или ливнями затопить. Так и не выбрав, пробует то одно, то другое. В результате все покрывается ледяной коркой. Темно-серая, бугристая. Будто скопище глубоководных медуз — всплыли за ночь из земных недр и облепили беззащитный город. Сверху на это безобразие щурится бледное, коматозное солнце. Ни сочувствия, ни тепла. Чего удивляться, что душу, как постиранное белье, выкручивает.

И вдруг все изменилось. Я шла от Пьяного угла вниз по улице и... Нет, я не гуляла, просто позвонила клиентка, сказала, что хочет покраситься. Но краску купить не успеет, и не могла бы я... «Конечно!» — радостно завопила я в трубку. наших аж скрутило от смеха. Глупые, ничего они не понимают. Как усидеть в помещении, когда на улице солнце...

А солнце ласкалось, как провинившийся и пытающийся загладить свою вину ребенок. «Простить?» — поглядывая посветлевшими глазами-окнами, будто спрашивали друг у друга пожилые и оттого недовер-

<sup>1</sup> Штиць, фетелор — знаете, девочки.

<sup>2</sup> Фрумушика — хорошенькая, красотка.

<sup>3</sup> Баба проастэ — глупая женщина, дура.

<sup>4</sup> Пофтиць — пожалуйста.

<sup>5</sup> Мамэ драгэ — мама дорогая.

чивые хрустевки. «Простить!» — ослепительно вспыхивал крест на куполе Церкви Всех Святых. Даже люди — уж на что привередливые — выглядели умиротворенными. Как будто солнце служило гарантом: все в этом мире будет хорошо. Но когда со стороны Пьяного угла раздались отрывистые, сухие звуки, я, еще не осознав их природы, уже поняла, что хорошо не будет, а будет другое, страшное.

Спустя несколько минут в каком-то отупении я стояла и смотрела на развороченную, как квартира после взлома, Серегину машину. Это было похоже на кадр из боевика. Не может быть, чтобы это было по-настоящему! Но вот оно, совсем рядом: раскинутая по стеклу паутина трещин, осколки скошенного под корень бокового зеркала и, главное, — маленькие круглые отверстия, в беспорядке рассыпанные по всему периметру машины. Зачем-то стала пересчитывать: одно, второе, третье... десятое... Какая разница, что делать, лишь бы не видеть завалившегося вбок, да так и застывшего в неестественной позе тела, в котором, словно прорастая сквозь одежду, распускались жуткие алые цветы. Поэтому когда Пашка-мент (откуда взялся?) резко, почти грубо отодвинул меня в сторону, я даже обрадовалась. Почему я не сделала этого раньше и сама, непонятно.

Оглушив сиреной, примчалась скорая, как гигантские белые птицы, заматались санитары. По привычке оглядев мужские виски и затылки, я подумала, что санитарам пора стричься. Еще подумала, что они наверняка запачкают свои халаты. Подумала равнодушно, просто мысли цеплялись одна за другую. Но тут Серегу стали вытаскивать из машины, чтобы положить на носилки. Я отвела взгляд и уставилась вниз. Там шла своя жизнь и своя борьба: ледяная корка пока еще держала позиции, но ручьи штурмовали со всех сторон, конец был предсказуем.

Когда я снова подняла глаза, носилок было уже двое. С одних, белое, как снег, смотрело Серегино лицо. Вторые носилки были накрыты полностью, лишь сбоку из-под простыни выбивались длинные светлые пряди. Я узнала их, я узнала бы их любимыми, даже такими — тусклыми и безжизненными. Вдруг вспомнилась выброшенная на помойку кукла. Меня затошнило. Еле успела забежать за угол, и уже там, за углом, меня вывернуло наизнанку отвратительной желтой слизью. Поесть я не успела, и рвать было нечем.

С работы в тот день я отпросилась. Хозяйка — как раз зашла за выручкой — только глянула на меня и сразу руками замахала: иди, иди! Зато и разговоров было назавтра... Даже в новостях наш Пьяный угол упомянули. «В Кишиневе на улице Андрея Доги, в районе Пьяного угла, было совершено покушение на известного бизнесмена Сергея Царькова. Бизнесмен в тяжелом состоянии достав-

лен в больницу», — сделал серьезное лицо и подражая дикторской манере, проговорила Татьяна. Так похоже у нее получилось, мы с Родикой от неожиданности даже рассмеялись. Только Олеська не смеялась. Она вообще вела себя странно. Время от времени я ловила на себе ее взгляд, в котором читался невысказанный вопрос. Я догадывалась, о чем она хочет спросить, но, наконец озвученный, вопрос все равно застал меня врасплох.

— Ты ведь была там, правда? И не говори, что нет. Ответь только, он был один?

— А что сказали в новостях? — попыталась я оттянуть время.

— Один.

— Значит, так и было! — с непонятным мне самой раздражением ответила я.

Олеська посмотрела на меня удивленно, но промолчала, отошла в сторону. Думаю, она мне не поверила.

Женщины наши про Златовласку нет-нет да и вспоминали: мол, давненько не видно. Потом-то реже, конечно, все постепенно забывается. Но когда я увидела входящего в парикмахерскую Серегу, я все-таки надеялась, нет, я ждала — взгляда, жеста, хотя бы намека! Но он был таким же, как всегда, веселым, улыбочивым. Лишь когда садился в кресло, я увидела, как исказилось его лицо. Но это была гримаса боли, не больше. Да нет, я все понимаю, Серега вовсе не обязан раскрывать душу, тем более перед нами, посторонними людьми. Только мне вдруг стало так тошно. В эту минуту я поняла: работать здесь больше не хочу. Меня, конечно, уговаривали остаться, Татьяна, Родика с Олеськой, наша хозяйка, даже клиенты. Но я твердо решила — нет.

В мой последний рабочий день ощущение было как на вокзале, не только у меня — у всех. Волнение отъезжающих — меня! — грусть остающихся, и вечный вопрос: встретимся ли когда-нибудь. Неудивительно, что женщины наши выглядели потерянными. Олеська — та даже всплакнула. Я хотела утешить, что-то сказать, но слова все куда-то задевались, и я просто ее обняла. А потом пришел профессор, тот самый, что красит волосы. Пока я заканчивала дела с хозяйкой, собирала вещи, профессор стригся. Он нагнал меня уже на улице.

Я стояла на крыльце и наблюдала весну. Невыносимо голубое небо резало бы глаз, когда б не мохнатые брови облаков. Сдвинулись — на время исчезла голубизна. Там же, возле облаков, веселыми голосами переговаривались птицы. Ветви деревьев тоже отчаянно тянулись вверх. Но их облепили разжиревшие почки, куда в небо с таким-то грузом. А сквозь влажную, рыхлую землю уже пробивалась едва заметная

зеленая щетина. Но было что-то еще, неуловимое. Оно носилось в воздухе, пузырьками от шампанского ударяло в нос, в голову. И от этого невозможно, неправимо хотелось жить.

— Скажите, я очень старый? — вдруг спросил профессор.

Я даже вздрогнула от неожиданности. Он так тихо стоял рядом, что я успела про него забыть.

Я открыла рот, чтобы ответить, но словно кто другой за меня говорить стал:

видишь как дымок из дымохода запутался  
в орлином полете  
и только снежное перо  
режет узел пополам и разглаживает его  
над полями

так жизнь моя — дым запутанный  
и лишь перо орлов

рассекает меня пополам и рассеивает  
любимая над полями<sup>1</sup>

Это я стих вспомнила, что профессор однажды читал. Прочитала и смутилась, и в сторону смотрю, чтоб ненароком на профессорский взгляд не наткнуться. Потом все-таки посмотрела — а лицо у профессора светлое-светлое. Будто солнечный луч прикоснулся. И тут сквозь наслоения лет-морщин я увидела совсем юное лицо. И волосы... живые, без грамма краски.

«Спасибо», — только и сказал он. Но это «спасибо» получилось огромным, как облако. И как только во рту умещалось. Не говоря больше ни слова, мы двинулись вперед, дошли до самой дороги, после чего шагнули в противоположные стороны. Или в одну весну, так, пожалуй, будет правильней.

---

<sup>1</sup> Стихотворение Никиты Стэнеску (из книги «Узлы и знаки»), перевод с румынского Олега Панфила.